Александр Уланов

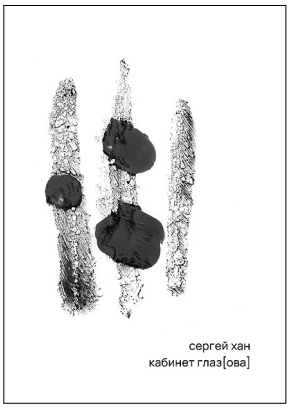
Навстречу

DOI: 10.53953/08696365_2026_201_5_293

Хан С. Кабинет Глаз[Ова].

Алматы: UGAR.kz, 2026. — 76 с.

«Подлинное, наполненное настоящее — существует лишь тогда, когда осуществляется встреча, присутствие, отношение. Только через присутствие Ты возникает настоящее». Без встречи с Ты человек имеет дело только с объектами, которые «застой и прекращение, оцепенелость и оторванность, отсутствие отношения и бытия в настоящем», — говорил Мартин Бубер[1]. К этой встрече, раскрывающей настоящее, движутся стихи Сергея Хана. (О текстах Хана как осознании себя и Другого пишет в послесловии и Валерий Горюнов.) Нередкое в них «мы» — именно как двойственное число, ты и я. Одно из условий встречи — самоотстранение: «смотри — меня даже нет» (с. 19). Мотив отсутствия себя постоянен: «почти ничего от меня не остаётся / когда я на вдохе поднимаю взгляд» (с. 40). Не-настояние на личном выглядит как безличность, но таковым не является. Это бережность, осторожность, «остановленный танец / свернувшийся внутрь» (с. 9), который не потерян, просто ждет возможности развернуться. Неудача — неизбежность, не трагедия, а основание для новой попытки. Надтреснутость, неплотность там, где надеются на твердость, непроницаемость там, где надеются на окно. Но это не мешает быть нежными и благодарными. Почти оказываться — но полностью и не бывает. Как писал Эммануэль Левинас, «связь с другим — не идиллическая и гармоничная связь внутри одной общности, не сопереживание, в котором, поставив себя на чужое место, мы признаем другого, хотя и внешним по отношению к нам, но подобным нам; связь с другим — это тайна»[2]. Непонятное мне, невозможное, но осуществимое. Встретить другого, сохранив его. Это наиболее возможно в любви, очень близкой встрече, сохраняющей различие. Не господство, не подчинение, не слияние, не борьба.



Усилие пути к другому человеку никогда не достаточно, «когда мы понимаем, что не в наших возможностях / сделать усилие достаточным, устаём наконец / и выпускаем его из рук» (с. 25). Встреча всегда — дар, ответ на опустившиеся руки. «Отношение одного к другому обязывает за пределами всякой обязанности; что приводит к идее дара»[3], — писал Морис Бланшо. Причем дар, видимо, свойственен не только человеку, но и природе. Лесная ягода — дар в чистом виде, ей от человека никакой пользы. Возможно, поэтому у Хана встреча с Ты часто происходит в природе, оказываясь одновременно встречей с природой. Занавес, который скрывал природу, после встречи «был нам простынёй / и экраном» (с. 11). Жуки участвуют в на-

1 *Бубер М.* Я и Ты / Пер. с нем. Ю.С. Терентьева, М. Файнгольда. М.: Высшая школа, 1993. С. 11.

2 *Левинас Э.* Время и другой. Гуманизм другого человека / Пер. с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. С. 75–76.

3 *Blanchot M.* L'Écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980. P. 169.

шей жизни, напоминая о пропущенных вопросах. Природа, может быть, помогает заметить происходящее рядом, с близким: «птица за окном кричит так / отчаянно словно выменивает себя // на источник крика» (с. 39). Для японской культуры такое взаимопроникновение — норма, неслучайно появление в книге Сей-Сёнагон. С другой стороны, не только человек, любой предмет — отдельный и чуждый («лес неотвязчивый, невыносимый», с. 50), но именно благодаря этой инаковости и может помочь.

Конечно, не только предметы, но и речь. После лингвистического поворота, когда человека едва не редуцировали к языку, наконец вспоминают о тактильном и вообще телесном опыте. Слова, при всей их значимости, многое упускают: «над ним / погружённым в среду слов / восходила пылающая звезда / [когнитивной] пустоты» (с. 43). Евгения Суслова, автор предисловия к книге, пишет, что «касание — это основной паттерн грамматики познания в книге Сергея Хана» (с. 4). Стих собирается из несловесного и в него же и возвращается измененным поведением, а от лишнего слова уклоняются: «настолько ослабло давление слов на / то, что не имеет значения» (с. 36). Но слова, конечно же, помогают. Синтаксис видит взаимопревращения мы и ты: «мы в самом сердце знаешь и впечатлены» (с. 28). Работает многозначность языка: «и отрицающее нас — / мы» (с. 53) — но и собирающее? отрицающее каждого из нас по отдельности? Но одновременно непрочное, постоянно распадающееся и создающееся снова. Всегда через препятствия, «и то, что препятствовало нам / в конечном итоге доказывает / наше достижение друг другом» (с. 53) — именно друг другом, творительный падеж, постоянное действие, а «друг друга» было бы рассмотрением другого как точки, до которой можно дойти и остановиться-успокоиться. Значимость вспомогательных частей речи («и что с того / которое не то», с. 44) акцентирует внимательность и не-настояние на себе.

Впрочем, внимательная тишина неотличима от голоса: «что-то сказал / или это так тихо?» (с. 62). Все отдельно — и одновременно во взаимопроникновении. Действия, углубляясь, становятся предметами, чтобы почерпнуть еще и их глубину. Ритуал (может быть, прощания?) сам не хочет прощаться, обвивает огонек. О (буква? предлог?) ходит в поношенном пальто. В то же время и речь может обладать предметным действием, «нельзя произнести слова так, / чтобы они ничего не коснулись» (с. 40). Предметы хранят в себе время своего появления, время встречи с ними — и в каком-то смысле позволяют некоторым особым временем запастись, как замороженными ягодами на зиму. С другой стороны, предметы все же определеннее, чем люди, в них накоплено меньше неожиданности: «однозначные персики» (с. 18).

Стихи Хана — исследование оттенков встречи. Например, превращений зрения в совместности. Вначале присутствие близкого человека обостряет зрение, взгляды резонируют, поэтому гораздо лучше смотреть на что-то вдвоем, получается увидеть значительно больше. Обнаруживаются медузы, скользящие по фасаду панельного дома. Но затем — потому что каждая встреча как в первый раз — близость растет, и внешнее, при всей его интересности, становится менее важным, чем присутствие человека, «ты заставляешь / всё исчезать» (с. 30).

Близость помогает понять, сколько у нас лишнего: «мы снимали это религиозное / чувство, как верхнее платье / слои исключительности и стыда» (с. 32). Человек без этого не окажется слишком легким, ветром не унесет. Потому что сможет летать — и с полета поймет, сколько ему действительно недостает, того, что и назвать пока не получается, «помня что обращаемся / к чему-то ещё и ещё» (с. 32). Близость не парадна. В стихах часто встречается мотив изношенности: «фигура в поношенной одежде / смотрела на нас с сожалением / но и благодарностью, будто знала / что мы не могли быть вовремя» (с. 7), «изношенное пальто / с разъехавшейся подкладкой / оно плохо сидит на о» (с. 61). Мир — потертый, но идеальное мертво.

Е. Суслова сравнивает стихи Хана со снами. Однако человек и не во сне часто действует в области логически противоречивого, невозможного — и порой что-то у него там получается. Встреча с Ты — всегда новое внезапное раскрытие. «Мир Оно обладает связностью в пространстве и времени. Мир Ты не имеет никакой связности в пространстве и времени»[4] и этим похож на сон. Но это не сон также и потому, что сну при всей возможной трепетности незнакома ответственность. А она связана именно с тонкостью. «Бытие человека человеком есть ответственность за других и предельная уязвимость»[5]. (Сон несет и проблему соскальзывания в бессознательное, в сюрреализм, который когда-то открывал литературе новые горизонты, но через сто лет имитируется даже нейросетями.)

Персонаж книги — Глазóв — чужой и чуждый. Порой и самому себе. Может смотреть на себя со стороны — «он» встретил ее у ручья, где трава перепутана с мелкими белыми цветами. Фамилия позволяет предполагать и человека в качестве глаза (вспоминается киноглаз Дзиги Вертова). Внимание к кино — отсылки к фильмам, рассмотрение эпизодов как снятых кадров. Память тоже во многом ассоциируется с кинопленкой, у нее кадры, порой склейки. Память об ушедших близких — почти что память о собственной смерти. «Отец Глазóва, смотревшего в зеркало, прошёл сквозь — / большой сгорбленной тенью» (с. 51).

Эпиграфы у Хана — не подтверждение, а точка отталкивания. В них говорится о попытках сбежать от вопросов вместо их решения посредством жизни с ними. Джузеппе Чивитарезе пишет, что Другой мог бы помочь восстановить рассеянные фрагменты личности, — но человек бежит от Другого в ужасе от его отделенности (с. 49). Но на то он и Другой, что отделен, и встреча с ним — всегда риск, а закрытая безопасность только гниет внутри. В другом эпиграфе Оксана Тимофеева говорит о самоизоляции в бредовых сценариях ради собственной безопасности (с. 35). Хан, напротив, открыт человеку, предметам, природе — в их мгновенной конкретности. Непонятно откуда взявшемуся запаху цветочного магазина, вознесению стакана с молоком в именно так именно сейчас упавшем свете. Есть момент, когда у солнца кислый вкус (с. 63). А закрывшись в страхе — только с бредом и остаться.

Хотя открытость, конечно, опасна. Жизнь вовсе не гладка, «мы в абьюзивных отношениях / с недостающим опытом» (с. 37) — причем кажется, что нарушение границ и жестокость тут возможны с обеих сторон, не только от порой бьющего по голове опыта, человек тоже иногда поступает неверно, сильно обижая опыт, важно быть критичным к себе и заметить это. Есть дети, разрубающие червяка просто так из интереса. Однако картины расчеловечивающей обстановки у Хана присутствуют фоном, они есть, но детальное описание того, что все и так видят, едва ли поможет жить в этом. Когда обрывки попсы «разлетались / над водой беспомощно / но среди деревьев / как разбрызгиваемый яд» (с. 42), можно подумать и о том, что засоряющий пространство звуками сам едва ли благополучен, курит, стоит, смотрит в это пространство на воду, гору. А тех, кто отравляет мир без малейшего сомнения, взгляд Хана учитывает, но вклиниться им в отношения с Ты не позволит. «Время распоряжалось нами с большей уверенностью, / чем мы им, но вспомни, / как легко мы отказывались от него вовсе» (с. 55). Человек одновременно и зависим от времени, и независим от него — благодаря помощи Другого, предметов.

Стихи Хана спокойны: «время / прорастает само в себя / пока мы просто идём навстречу» (с. 26). Спокойствие не уверенность и не бесчувствие. Это также и готовность. К боли хождения друг около друга, откладывания неизбежной резкости — боли этого откладывания и второй боли, когда откладывать уже нельзя. К тому,

4 *Бубер М.* Я и Ты. С. 23.

5 *Левинас Э.* Время и другой. Гуманизм другого человека. С. 239.

что рост предполагает разрыв: «в том месте где лист / прикрепляется к дереву / нарастает слой специальных клеток / чья задача — отделить черешок от ветки» (с. 42). Сбрасывается и кожа, и то, чем дышат (лист — легкие дерева), несмотря на риск быть уязвимым или задохнуться. Готовность к расставанию, которое, даже недолгое (но кто может быть уверенным в краткости? и чем измеряется долгота?), меняет пространство: «ты в фокусной точке / на дне кратера / разъятой комнаты / словно в зеркальном туннеле» (с. 66). К ранящим осколкам прошлого — но и ожидания будущего тоже, к разделенности в данный момент. Понимание неизбежности первого раза с Ты — потому что не начать со второго, — но и неизбежности последнего раза, «принимая необходимость расторгать поцелуи / как обоснование для их заключения» (с. 68). Приближение бесконечно и всегда недостаточно, «для меня другой является одновременно отношением недостижимости другого»[6]. Ты, она — беспокойная, кто плачет, ищет, ждет и смотрит спокойно — почти одновременно. И нужно беречь связанное с другим, даже если это мешает мне — потому что это вырастило другого как интересного мне, вошло в него как его часть. А для благодарности — именно «никакая какая опора» (с. 28), потому что и благодарность — дар, она не обязательна и всегда висит в воздухе.

Есть скорость и головокружительность мира, «ночной полёт наливал / взмученную воду в иллюминатор» (с. 33). И рядом есть паузы, когда можно «придумать этому смысл / на передышке держась за бортик бассейна» (с. 70). Другой — тот, «через которого ко мне приходит то, что не открывается ни личному могуществу Субъекта, ни могуществу безличной истины»[7]. Движение к Другому — не восполнение нехватки, «наша / погрешность в толще света / уже не вход в исчерпанность / а ток избытка» (с. 67). Не то чтобы исчерпанности нет — но ее можно раскрывать дальше: «заоконная чаша загудела и треснула: / я здесь, это я, я вернулась домой» (с. 58).

6 *Blanchot M.* Le rapport du troisiéme genre (homme sans horizon) // Blanchot M. L'Entretien infini. Paris: Gallimard, 1969. P. 105.

7 Ibid. P. 102.